

Галина Илюхина – поэт абсолютно петербургский. Критик Юлия Шералиева назвала её стихи тонкими и чистыми, местами изломанными горечью иронии. «Нежная, женская тень современного и

не очень Петербурга – на первый взгляд. А на второй, третий, следующий – что? Там, слой за слоем прячутся миры не только настоящего, но и прошлого, чьего-то узанного, кем-то предвосхищаемого будущего». Думаю, это очень точное определение творчества Галины. Рад, что наконец её стихи появятся на страницах «ЭЛ».

Д. Л.

НЕВИДИМКИ

Мы невидимки. Вот и хорошо –
забытые у Бога под полою,
растим на окнах пыльные алоэ,
читаем «Новый мир», «Звезду» и «ШО».

И пусть его. Нам нечего терять.
Пока воронкой кружит.... как там?.. кризис,
мы дёргаем невидимую привязь
и пишем наблюдения в тетрадь.

Вся жизнь – запас. И нас не призовут
начальники страны к перу и шпаге.
А ворохи исписанной бумаги –
проверено – горят за пять минут.

Гори оно. И синий – тоже свет.
Невидимую руку дай мне, брат мой:
нам всё равно дороги нет обратной,
поскольку никакой дороги нет.

Нам – только вверх. К весёлой вышине,
где невидимки, собираясь в стаи,
не смотрят вниз и никогда не знают,
зацвёл ли их столетник на окне.

33-Й ТРАМВАЙ

Забывай, забывай, ностальгию возьми в укорот:
Тридцать третий трамвай отправлялся от Нарвских ворот –
шёл по Газа к Обводному. Я выхожу за мостом.

Закопчённые стены, кирпичный обшарпанный дом.
Там, в убогом подвале, был маленький клуб ДОСААФ,
где мы преподавали собачникам клубный устав.
Особняк через улицу – чинный советский райком.
Мы обедать в столовую к ним пробирались тайком:
три копейки салат, канапе с разноцветной икрой,
комсомольские бонзы – под семьдесят каждый второй.
Возвращались в подвал, в свой угрюмый прокуренный грот.
В клубе числилось ровно пятнадцать служебных пород.
Всюду стенды с портретами лучших собак и вождей,
не работал сортир, и крысиные норы везде –
под столами, у сейфа... А в нём – небольшой арсенал:
из спортивных «пневмашек» по крысам палил персонал.
Генералы блошиных подвалов, собачьи чины,
под портвейн мы стреляли по стендам с вождями страны.
Веселились наутро, дивились, что нам не слабо',
вынимая корявые пульки из ленинских лбов.
Ох, и пили! С размахом, и пофиг нам был дефицит, –
забывалось, что он безраздельно и нагло царит,
что сидит он у всех поголовно в печёнках, в крови, –
нам тогда с перехлёстом хватало счастливой любви,
и на вечное «негде» тем паче плевали стократ –
прямо в клубе собачьем, на стол постелив дрессшалат.
Выходили в осеннюю сырость, чисты и легки,
и вдали, приближаясь, светились во мгле огоньки:
два – зелёный и красный. Ура, тридцать третий трамвай!..

.....
Ностальгия, молчи. Забывай-забывай-забывай,
забивай, не смотри, как в распахнутых створах ворот,
прибывая, угрюмо гудит разномастный народ:
все пятнадцать пород одичалых советских бомжей.
Только рельсы разобраны. Некуда ехать уже.

* * *

На Невском холодно и пусто.
Маячит в маске постовой,
и что-то ищет призрак Пруста,
бредя по мёртвой мостовой.

Сквозь щели карантинных ставень
не то закат, не то пожар.
Нас Бог на паузу поставил
в момент крутого виража,

и мы зависли в странных позах
на зыбком лезвии луча,
но всё ещё взбиваем воздух,
ногами суетно суча.

А всё кругом крупнее, чётче —
вот голубь стонет на окне,
вот неустанный древоточец
ползёт по медленной стене.

Озон, гроза в начале мая,
и так прозрачна суть вещей.
А мы её не понимаем.
Не понимаем. Вообще.

* * *

Куда податься? Догорели избы
и рукописей жухлые листы.
Неистребимый призрак шовинизма
разводит заржавелые мосты.

Всё думали, что пишем, что камлаем.
Бог отвернулся, он от нас устал.
Неистовый скакун под Николаем
литым копытом топчет пьедестал.

Вдыхает запад терпкий дух массандры,
и бродит кровь, что виноградный сок.
Но фыркает битюг под Александром,
и облако уходит на восток.

Вползает морок в колыбель коллизий.
Наш бедный всадник не убил змеи.
Опять брести канавкой бледной Лизе
и вглядываться в бездну полыньи.

Смотри – сквозь тектонические плиты,
сочась, бурлит болотная вода.
Мы поневоле все космополиты.
Теперь – куда?

ЗАКАТНОЕ

Кашляет город в красной закатной пыли,
мусорным шорохом кружит пустые арки.
Нитки запутали, скомкали, в петли свили
пьяными пальцами наши слепые парки.

Всё дежавю в этом горячем сюре:
ветер колючий, карликовые смерчи.
Где ж это было? – петли, кирпичный сурик...
Город зеро не отпускает смертных.

Это тупик. Но помнишь – ступени, слева, –
в прошлой какой-то жизни всё это было:
ржавые прутья, древних проломов зевы,
только не трогай расшатанные перила!

Город пустой, секущий лицо ветрами,
весь на ладони – маленький, муравьиный.
Небо почти вертикально стоит над нами,
падает и... промахивается. Мимо.

ДРУЗЬЯМ

Смотрю и знаю – это всё мое,
и все они – счастливые и злые –
мои насквозь. Нелепое враньё,
что мы умрем. И запахи полыньи

пускай текут и трогают лицо,
пусть мы – вот так! – раскидываем руки,
и вот уже трепещет пальтецо,
и мы летим, как маленькие муки –

мохнатая шершавая земля
уходит вниз нестрашно и покато,
оранжевый закат летит, пыля,
и, вытянувшись в столбик, сурикаты
торчат вдали, как зубья гребешка,
дивясь вослед размашистому клину,
а мы хохочем и кричим: пока!
...Пока живот щекочут облака
и тёплый ветер обдувает спину.

ЗИМА БЛИЗКО

О чём вы, о каком пути особом?
Я тихо становлюсь социофобом,
всей кожей чуя ледяной прогноз –
что воздух обжигает ментолов,
что близится зима в игре престолов,
и мир идёт вразнос.

Наедине с собой слышнее звуки:
с угрюмым лязгом танки и базуки
в невидимого целются врага.
И с криком вскинув тоненькие руки,
роняют тапки маленькие муки
и падают в снега.

Грядёт зима. Я не хочу о грустном.
Но, боже, как смертельно пахнет дустом
легчайший первый снег.
Забьешься в щель – а третья мировая,
железной фомкой плитусы вскрывая,
идёт, одна на всех.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

На виске вспотела родинка,
жарко, жарко, спать пора.
Спи, хороший мальчик Роденька,
не касайся топора.
Сон горячечный откатится
по Столярному к Сенной:

видишь – Соня в чистом платьице,
вся пронизана весной,
завернула на Садовую,
солнце брызнуло в лицо,
и блестит на пальце новое
обручальное кольцо.

Попусти ты, им, сквалыжникам,
что томятся да дрожат,
тут под каждым под бульжником
деньги липкие лежат.

Сотворить дурное есть кому,
крутят бесы шар земной.
Не спустить бы Достоевскому
тысяч десять в казино,
после корчей эпилепсии
не скрипеть в ночи пером –
ан, тебе на чёрной лестнице
не стоять бы с топором...

...Дождь накрапывает вроде как,
воздух чище и свежей.
Спи спокойно, мальчик Роденька,
всё исполнено уже.

* * *

Он просто уехал. Куда? Например, в Тенерифе –
служить там смотрителем рифм и коралловых рифов,
замешивать пышную жизнь из воздушного теста,
на солнечном масле поджаривать лёгкие тексты,
и эдаким ласковым чертиком, чёрным, как сажа,
лукаво русалок и нимф завлекать для массажа,
чтоб, лёжа на пляже, потягивать терпкие вина,
и гладить лениво солёные тёплые спины.

Но медное солнце с шипеньем опустится в воду,
вдыхающий ветер зашепчет печаль и свободу,
заплещут вокруг большеротые грустные звёзды.
И вот он уже обратился в мерцающий воздух,
и вот он уже светлячковой колышется сеткой
во мгле среднерусской – над старой заросшей беседкой,
над брошенным домом в кустах белопенной сирени,

где тихо скулит домовёнок, уткнувшись в колени.
Над краем села, над сырým соловьиным погостом.
Нет-нет, он уехал. Он просто уехал. Он просто...

ПАМЯТИ ВОЛОДИ ШПАКОВА

1.

В октябре перелётным тянуться на юг,
и листве облетать, догорая дотла.
Умер друг у меня, самый лучший мой друг.
Вот такие дела.

Не хочу ни метафор, ни вычурных слов,
ведь у горя прямая и грубая речь.
Просто чёрной земли открывается слой –
износиться и лечь.

А пока что молчать, запрокинув лицо,
чтобы слёзы стояли, как в чашах вода,
и следить за взмывающим в небо скворцом:
до свида...

2.

Желтеет небо на заре,
поёт восторженно валторна,
и так свободно и просторно
тем, кто уходит в октябре,

кто, резвым школьникам под стать,
опять, смеясь, пинает листья –
как будто дома отпросился,
пообещав не умирать.

И в этом нет ни слова лжи –
у Бога правда мёртвых нету.
Горят, исполненные света,
кленовых листьев витражи,

а там, за ними, синева,
что так и тянет оторваться!
И листья лёгкие вихрятся,
и ветер треплет рукава...

Земное всё теряет вес —
не удержать, не заарканить.
А мир — он просто наша память
по обе стороны небес.



Анна Соколова. Кадашёвская церковь.
Холст, масло, 180Х90.